

Был в городе Ленинграде в 40-80-х годах прошлого века Институт геологии Арктики (ныне ВНИИОкеангеология). Его сотрудники не только вникали в проблемы колымского золота и якутских алмазов, но и исследовали глубины души человеческой. Какими были в те времена рабочие и ученые, бичи и эки — портреты писались с натуры один к одному, без художественного вымысла, без редактуры и ретуши. И так как многие типажи безвозвратно уходят в прошлое, наш долг — сохранить для потомков свидетельства участников и очевидцев тех судьбоносных событий. Для нас эта память — национальное достояние, более ценное, чем вся нефть, золото и алмазы, вместе взятые.

По инициативе заместителя директора ВНИИОкеангеологии профессора О. И. Супруненко, моего друга, коллеги и земляка-камчадала, рассказы, очерки и фотографии ветеранов Севера были объединены в сборник и записаны на диск, который я тоже просмотрел. Самое сильное впечатление на меня произвели зарисовки и были Евгения Александровича Кораго. Надеюсь, что они заинтересуют и читателей «Дальнего Востока».

Юрий САЛИН

ВИКТОР ПОЛОВНИКОВ

Витя был моим сокурсником. Он коренной ленинградец; портрет его деда, горного инженера, висел (и, конечно, сейчас висит) в деканатском коридоре Горного института. В Горный он поступил после недолгого учения в летном училище и последующего отбывания срока в местах не столь отдаленных за какую-то драку. Срок был пять лет, но отсидел он значительно меньше, а потом, немного поработав, еще и сумел поступить в институт. Тогда это было просто невозможно. Вероятно, заслуги деда сыграли свою роль.

В Горный институт Витю привели: с одной стороны — мятежная душа, с другой — возможность путешествовать и жить на природе. Парень просто бредил арктическими походами Нансена и Амундсена, «Моби Диком» и Рокуэллом Кентом. Цитировал царя Соломона из тогда еще малоизвестного Экклезиаста.

Роста он был чуть выше среднего и сложен как греческий бог. Правда, исключительно красивую и мускулистую фигуру несколько портили слегка кривоватые, хотя и очень крепкие ноги. Лицо привлекало: смелое, с бесстрашными голубыми глазами, его обрамляли очень густые, всегда коротко стриженные черные волосы.

Даром свыше был очень приятный баритон. Витя не имел школы, но пел замечательно. У меня сохранились его записи с его же аккомпанементом под гитару. Впервые слышавшие их всегда удивлялись, почему же не знали о нем раньше.

Вся их семья (по крайней мере, ее мужская часть) была спортивная. И отец, и трое его сыновей предпочитали лыжи и велосипед. Младший брат стал мастером спорта и чемпионом вузов города по велосипеду. Сам Витя старшеклассником входил в юношескую сборную города по прыжкам с трамплина. Он обожал горные лыжи, но не пренебрегал и беговыми. Во время зимних каникул, набрав команду из желающих, некоторые из которых, как потом выяснилось, и на лыжах-то толком стоять не умели, отправился в поход по Кольскому полуострову, и им, заночевавшим где-то на очень опасном склоне, просто повезло, что их не накрыло лавиной.

На гоночном велосипеде, используя вместо тормоза ноги, он ездил в институт каждый день все пять лет учебы. Возвращаясь после крымской практики, на велосипеде покрыл расстояние более двух тысяч двухсот километров за десять дней.

Увлекался Витя и альпинизмом, хотя, как мне кажется, занялся им, чтобы посмотреть новые места. Неосуществленной мечтой, которую он вынашивал с самого начала своей жизни в Сеймчане, осталось покорение пика Победы — высочайшей вершины (3147 м) хребта Черского. Зато он много путешествовал весной в окрестностях, в районе горного массива Туоннах.

Сеймчан — маленький, заснеженный в течение семи месяцев поселок в нескольких километрах от Колымы. Собственно, это по Витиному зову я приехал сюда после армии, хотя изначально рвался на Чукотку, но не срослось. Здесь располагалась геологоразведочная экспедиция знаменитого «Дальстроя», где работали бесшабашные и порой «безбашенные» молодые парни, для которых возраст сорок лет казался глубокой старостью. От четырех до шести (если с «весновкой») месяцев проводили они в поле, то есть в тайге и лесотундре в центральных районах Колымы или Западной Чукотки. В остальное время — писали отчеты, отмечая по ходу дни рождения и прочие праздники (например, в декабре 1971 года — шестидесятилетие покорения Южного полюса), главными из которых были День геолога и, конечно, вечер полевиков по окончании сезона и сдачи полевых отчетов.

На лыжах катались все, чему, впрочем, не очень-то «споспешествовали», как говорил Витя, сильные морозы в период с середины ноября по февраль. Настоящий, то есть общепоселковый лыжный сезон начинался в марте, заканчиваясь в мае, но наиболее закаленные и дерзкие парни и даже девушки катались и в самые лютые (за пятьдесят градусов, и это по Цельсию, а не по Фаренгейту!) морозы.

На третий год своего пребывания в Сеймчане Витя при нашей помощи построил на склоне Пионерской сопки, примерно в пяти километрах от поселка, трамплин из лиственницы, с которого прыгал метров на двадцать пять.

С двумя собаками, Дамиром и Булуrom, вышел я рано утром на водораздел между Колымой и ручьем Кураннах. Поселок еще спал, слабо пуржило, небо от горизонта до горизонта было затянуто белесо-серой пеленой.

Я не торопясь поднимался лесенкой вдоль гребня, глядя преимущественно себе под ноги, но изредка осматривая и склон. Лыжи подчас проваливались, и я оказывался в снегу по колено, но идти было в общем-то легко. Когда до перегиба склона оставалось по вертикали метров двадцать-тридцать, я услышал очень странный звук: какое-то вкрадчиво-свистящее шуршание-шелестение-шипение — и, резко подняв голову, увидел, как несколько ниже того места, где склон выполаживался, молнией пробежала трещина, ниже нее возник фронт, состоящий из снежной каши и пыли. В поле зрения на секунду попали и мои собачки, уже подхваченные снежной массой.

Дальше я действовал автоматически — повернувшись спиной к склону и мгновенно освободив кисти рук от темляков лыжных палок, резко подпрыгнул вверх; в следующее мгновение почувствовал удар в спину и был подхвачен снежным потоком. Согласно технике безопасности, я интенсивно стал делать руками плавательные движения. Когда снег остановился, оказалось, что я нахожусь в нижней части склона и довольно плотно утрамбован от ботинок до пояса и выше. Однако плечи и руки были свободны. Потихоньку с помощью лыжной палки, приклада ружья и собственных рук я стал откапываться, добравшись сначала до правой, а затем левой лыжи и отстегнув их. Выбравшись, откопал лыжи. Все это я проделал в состоянии какого-то психологического шока, сознание словно оцепенело от такой стремительности событий.

Спустился к Колыме. Снегопад усилился, завывания ветра становились все яростнее. А где же мои славные собачки? Я стал звать их. Ответного лая не было.

И вдруг как-то незаметно появился Дамир. Попрыгал около меня, помахивая своим пушистым хвостом-закорючкой. «Куда ж твой брательник запропастился?» Дамир посмотрел на меня внимательно, съел предложенные галеты и сел на снег, слабо виляя кончиком хвоста. Я продолжил поиски Булура, осматриваясь вокруг. Периодически звал его, при этом ходил до Колымы и обратно. Так, по моим прикидкам, прошло часа полтора-два. Часов у меня не было, но внутренние биологические подсказывали, что скоро будет совсем темно, к тому же я начал мерзнуть. Пора было возвращаться. Кликнул Дамира, но этот разумный пес, подчинявшийся моим командам беспрекословно, лег на снег, положив голову на передние лапы, и не мигая смотрел на меня. Что за черт? Я опять позвал его — никакого эффекта. Подойдя к Дамиру, вдруг услышал из-под снега слабый вой. Сняв лыжи, я стал одной из них раскапывать снег и, копнув лишь раз, увидел небольшую дырочку, из которой шел пар. Я стал копать быстрее, но осторожнее, и скоро на меня умоляюще и, клянусь, радостно смотрели две желтовато-коричневые бусинки глаз. Когда я освободил горло Булура, он завопил со страшной силой, но это было уже лишне — полное освобождение близилось и так. Он лежал в спрессованном снегу на спине, мордочкой и лапами вверх. Выскочив наконец из-под снега, Булур стал громко лаять и прыгать выше моей головы, поочередно облизывая то меня, то Дамира. Впрочем, мы все облизывались и целовались друг с другом, обнимались и бешено крутили хвостами. Домой вернулись уже в полной темноте.

Перед Новым, 1975 годом родилась идея — устроить метеототализатор, угадать температуру воздуха, которая будет в восемь ноль-ноль утра по местному времени тридцать первого декабря. Данные по температуре сообщит нам по телефону знакомая девушка из метеослужбы аэропорта. Заявки принимаются с момента объявления, при этом первые десять суток проигрыш в четыре градуса равен по стоимости цене бутылки «Магаданского пива»; затем он удваивается, а последние два дня возрастает сначала еще в два, а затем в четыре раза. Народ с энтузиазмом воспринял это предложение, кое-кто тут же сделал заявки, но большинство не торопилось. Интрига, если можно так выразиться, состояла еще и в том, что в те «безынтeрнетные» времена сведения о прогнозе погоды на более-менее долгосрочный период можно было почерпнуть исключительно из сообщений радио и газет; телевидение в Сеймчане только-только появилось. К тому же прогноз на наши районы, удаленные от областного центра, часто не соответствовал реальному. В общем, случилось так, что антициклон продержался вплоть до вечера тридцатого декабря, а в ночь на тридцать первое произошло резкое вторжение мощного циклона и температура воздуха поднялась на двадцать два градуса (все того же доктора Цельсия), с чем, как говорится, вас и поздравляем! Проигрыши были значительные (естественно, в масштабе цен и запросов того времени). Настоящую температуру не угадал никто. Я лично проиграл около семи рублей.

Таким образом, «общак» оказался немал. Дальше каждый должен был идти в магазин и покупать на проигранную сумму кто выпивку, кто закуску для предновогоднего стола. Помимо экспедиционного молодняка, в талитазаторе приняли участие и более солидные (тридцатипяти-, сорокалетние) люди, а также некоторые примкнувшие к нам пилоты и местные деятели физкультуры и спорта.

В том году алкогольная продукция была довольно разнообразна — кроме производимых местным пиво-безалкогольным комбинатом (ПБК) темного «Магаданского пива» и «Черносмородиновой» (так называлось плодово-ягодное вино из крупной, до размера мелкого винограда, ягоды охты с очень специфичным вкусом, вероятно какой-то разновидности черной смородины, обильно произраставшей в пойме Колымы и ее притоков, — вино удивительного фиолетово-индигового цвета, достойного полотен Чюрлёниса, носившее у местных бичей название «марганцовка» либо «плодово-выгодное»), на прилавках красовались «Московская водка» с криво наклеенными зелеными этикетками; вино «Агдам», произведенное на солнечном Кавказе; «Советское шампанское»; кубинский ром с полногрудой и толстогубой негритяжкой на этикетке и болгарский напиток коньячного типа «Плиска» в пузатых бутылках. Мой цепкий взгляд остановился на нем. Выбивая чек, кассирша поинтересовалась, не возьму ли я в качестве сдачи билет новогодней лотереи. Обычно я не брал лотерейных билетов, но тут, торопясь, согласился и сунул смятый билет в карман пилотской шубы.

Потом было застолье, поздравления, дуракаваляние, песни, братание с высшим начальством, которое было ненамного старше нас. К концу застолья абсолютное большинство уже нетвердо ориентировалось в пространстве и времени. Когда стало совсем темно, я, Витя Половников и свердловчанин Лева Лушников отправились по моему приглашению к нам в гости, благо жили мы с женой и сыном, которому как раз сравнялось полтора месяца, в бараке рядом с экспедицией. Впрочем, все сотрудники экспедиции жили недалеко друг от друга.

Я смутно помню весь наш путь до дома, однако это не помешало мне с самого порога оповестить супругу, вытаскивая лотерейный билет из кармана шубы: «Томочка, вот тебе подарок к Новому году!» Жена говорила потом, что в первое мгновение у нее было большое желание разорвать этот билет на мелкие кусочки и бросить в мою нетрезвую, мягко говоря, морду. Но что-то остановило ее, может быть природная практичность. Во всяком случае, через некоторое время был накрыт маленький стол и мы попытались продолжить наше веселье. Но дневной кураж уже пропал. Тем не менее Витя через некоторое время предложил мне выйти и выяснить отношения (уж не помню, по какому поводу). Повозившись и повалявшись в снегу (и в результате несколько протрезвев), мы вернулись в помещение. Лева за это время успел ретироваться nach Hause. Жена поинтересовалась, не ждут ли дочки и жена Витю к Новому году. Всегда порывистый, Витя резко вскочил, схватил свою верхнюю одежду и был таков.

Вот такой получилась встреча 1975 года.

Утром моя драгоценная со мной разговаривать избегала. А через две недели оказалось, что лотерейный билет, который я ей «подарил», выиграл цветной телевизор. Вот какие подарки нужно делать любимым женам перед Новым годом!

Общаться с Витей было непросто: то он был прелесть — добрый, понимающий, готовый для друга на все, то вдруг настороженный, молчаливый, с пренебрежительным взглядом, легко мог обидеть резким, но обычно справедливым замечанием, всегда готовый к драке.

Людей подчас судил очень строго. Но, несмотря на всю его независимость, про-скальзывала в нем иногда какая-то детская незащищенность. Со временем и окружающим бытом был не в ладу. Энергия его нередко направлялась на борьбу с мельницами.

В институте Витя учился неровно, уделяя достаточное внимание одним предметам, другие же совершенно игнорируя. Первые лет пять работы в экспедиции он почти не делал специально литературу, утверждая, что до всего нужно дойти своим умом. В поле работал упорно и аккуратно, выбрав поиски рудного золота и презирая всякие абстрактные «псевдонаучные измышления», то есть были в нем задатки ортодокса. Он обладал мощной энергетикой, невольно действующей на окружающих. Иногда был совершенно непредсказуем. То не употреблял алкоголь месяцами, то вдруг ни с того ни с сего напивался и мог продолжать этот процесс по два-три дня, хотя запоями это никак нельзя было назвать. Никогда не пил с теми, кто ему в это время не нравился.

Конечно, это был, что называется, сорвиголова и, по-видимому, с несколько сдвинутой психикой; хотя, что такое норма, точно не скажет ни один психолог.

Периодически совершал необычные поступки. Вот один из них. Витя вечером пьяненький едет по снежному зимнему Сеймчану на велосипеде, который привез с собой из Ленинграда на самолете. Вместо переднего колеса — самодельный деревянный конек с металлическим подрезом, на заднем колесе вместо резиновой покрышки войлочный обод. Дорога узкая, впереди три фигуры. Когда он догоняет их, то оказывается, что это три кандидата наук (один из них — главный геолог экспедиции), что для Сеймчана, конечно, большой перебор. Витя кричит, чтоб они дали дорогу, те — не реагируют. Тогда он, впритык объезжая их, цедит сквозь зубы, но громко: «Посторонитесь, кандидаты сраные!»

Другой случай. Молодежная компания на втором этаже двухэтажного, типового для Севера дома. Заходит Витя. Компания: «О, привет! Садись. Вот, выпей!» Витя: «Жарко у вас». Компания: «Можно, конечно, окно открыть, но хлопотно — оно заклеено, а на дворе холодно». Витя: «Ну, открывать необязательно. Можно и по-другому». Не успели и глазом моргнуть, как Витя разбегается (он в рубашке с закатанными рукавами) и прыгает в окно, прикрывая лицо правой рукой. Стекло вдребезги, женские крики...

Еще минуты три — и на пороге комнаты появляется тот же Витя. Он отряхивает снег и достает осколки из окровавленных рук: «Ну что ж. Теперь можно и выпить». На следующий день умудряется спозаранку принести стекло и вставить его на место одеял и подушек, которыми было временно заделано окно.

Жил в Вите мятежный дух, часто не находящий выхода. Такие люди созданы для боевых действий, чрезвычайных ситуаций и покорения стихий. Им нужен адреналин. В суете улиц и потоке машин они не находят себе места.

Теперь немного о судьбе и том, что ее не следует искушать. Когда Витю спрашивали, не наелся ли он Кольмо-Омолонским регионом и не пора ли ему перебраться в Питер, где есть такие геологические организации, как ВСЕГЕИ и НИИГА, он отшучивался: «Нет. Я себе уже и местечко за полосой присмотрел» (имелся в виду погост за взлетной полосой аэропорта).

В декабре 1978 года Витя написал мне, что в январе собирается в отпуск, и попросил подыскать ему место работы. К тому времени он уже имел тринадцатилетний опыт работы на золоте, стал признанным специалистом, открыл интересное рудопроявление, имел грамоты от Мингео.

Здесь я должен сказать пару слов о семейном положении Вити. В Сеймчане у него была жена и две малолетние дочки. Его супруга тоже неординарная личность. Оба с характером — нашла коса на камень. С Витей они то расходились, то сходились. Никто не хотел уступать. Но и врозь подолгу жить не могли. В экспедиции к этому привыкли. Начальник выделил ему в новом доме небольшую комнатку, где тот держал свои многочисленные лыжи, велосипед и любимые книги и где жил, когда была полоса войны. Когда он в январе собирался в отпуск, как раз такая полоса и была.

Январь в Сеймчане обычно очень морозный, и самолеты не летают из-за туманов, но тут случился циклон и повалил снег. Продолжалось это дня три. На четвертый день

с утра также шел снег и дул ветер. Витя позвонил на метео, ему сказали, что прогноз плохой и аэропорт закрыт на целый день. Да, опять нелетная погода. Потом ему позвонила жена и попросила, чтобы вечером он забрал дочку из садика.

Витя отправился на Пионерскую сопку. На ногах были беговые лыжи, за спиной в чехле — слаломные лыжи и ботинки. Когда он шел по поселку, его видел только один человек, и тот не был уверен, что это Витя. Дальше случилось так, что погода резко изменилась и аэропорт после обеда открылся. Борт на Магадан улетел. Все думали, что Витя улетел этим рейсом. Его жена возмущалась, что перед отъездом он не предупредил, что не сможет забрать дочь из садика.

Он был погребен лавиной, не смог освободить ботинки от ременных креплений. Его нашли только через полтора месяца и похоронили на кладбище за аэропортом. До сорока лет он не дожил двух месяцев.

Такое вот роковое стечение обстоятельств. Такая вот судьба.

В честь Вити названа господствующая вершина горного массива Туоннах высотой две тысячи сто пятьдесят четыре метра, хорошо видная из Сеймчана.

ИВАН ГРИЦЕНКО

Когда я впервые увидел Ивана Емельяновича, мне он, мягко говоря, не очень понравился, и если и обратил на себя внимание, то только длинной белой бородой «а ля Хоттабыч» и шляпой, лихо сдвинутой набекрень. Чуть выше среднего роста, слегка сторбленный, весьма потрепанный и пьяный (тогда он крепко поддавал) худощавый старик годов где-то за шестьдесят. Примерно так охарактеризовал бы я его. Между прочим, как раз в тот момент, когда я увидел Ивана Емельяновича первый раз, его выбрасывали из нашего так называемого «Вечернего ресторана».

Иван Емельянович, или, как тут все его звали, Дед (либо Емельянович), родом был из Малороссии (Харьковщины), 1906 года рождения. В конце двадцатых окончил Харьковский полиграфический институт и подвизался оформителем в каком-то книжном издательстве. Но это было так — не для души, а для существования. Он был художником, прежде всего графиком, но писал и маслом, и темперой, и, что особенно сложно, акварелью. В 1938 году его и ряд его друзей, которые организовали какой-то кружок-объединение, после участия в одной из художественных выставок осудили по 58-й статье с формулировкой что-то вроде «за преклонение перед упадочническим искусством Запада». Вероятно, продолжительность срока усугубилась, во-первых, групповщиной (кружок), во-вторых, острым языком Деда, потому как отбахал он в общем итоге шестнадцать лет — до 1954 года; правда, последние годы отсидки был бесконвойным и в Сеймчане состоял при сыне уважаемых геологов.

Дело в том, что с конца сороковых — начала пятидесятых годов тихих эзков, даже и политических (если точнее, то в основном как раз политических), разрешили брать в семьи местных ИТР (инженерно-технических работников) в качестве «учителей-нянек» (вариант денщиков в царской России для дитятей дворян). Кажется, их официально называли «дневальными». Наибольшим спросом пользовались музыканты, учителя иностранных языков, математики, физики, литературы; до некоторой степени — художники или, на худой конец, учителя рисования, иногда спортсмены для физического развития ребенка. В их обязанности входило приглядывать за дитем, учить тому, что умеешь и знаешь сам, готовить, колоть дрова и исполнять другую домашнюю работу. Брали в дневальные и просто умельцев, поваров и т. д.

После освобождения Дед остался в Сеймчане, потому что был, не знаю уж, по каким соображениям властей, невыездным до конца шестидесятых. И это несмотря на то, что в начале 1964 года, еще при Н. С. Хрущеве (напомню, что в октябре этого года

он был снят с поста генсека), в Москве состоялась выставка картин Емельяновича. Ее сумел каким-то образом организовать его бывший сеймчанский воспитанник, — ведь для политики партии тогда было важно обличать пороки тоталитарного сталинского режима!

Достигнув пенсионного возраста, Дед получил какую-то мизерную пенсию и едва сводил концы с концами еще и потому, что злоупотреблял крепкими напитками, а также тратил деньги на книги. Года три-четыре после моего приезда в Сеймчан мы официально знакомы не были. Нередко я видел Деда в столовой или в магазине. Мы кивали друг другу. Несмотря на то что Дед тогда постоянно пил, он, по слухам, продолжал много работать. Его гравюры украшали стены почти всех домов поселка.

Затем Емельянович как-то очень резко порвал с бутылкой; никто вначале не верил, что он завязал навсегда. Не знаю, что послужило причиной, это ведь редчайший случай среди алкашей. Вероятно, сильно испугался после какого-нибудь сердечного приступа. Я раза два с друзьями-геологами, еще мало зная Деда, пилил и колол для него дрова, ведь в зиму на отопление уходило до десяти и более кубов. Жил он тогда в небольшом бараке с печным отоплением и удобствами на улице. Вскоре через моего друга я познакомился с Дедом поближе. Мне было около тридцати, ему — на тридцать шесть лет больше, но мы стали друзьями. К тому времени Емельяновичу дали однокомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного дома. Конечно, сейчас городскому человеку невозможно представить радость неизбалованного «квартирными излишествами» индивидуума, более трех десятков лет прожившего на Колыме (из них шестнадцать в лагерях, но не пионерских) и вдруг ставшего обладателем отдельной квартиры с кухонькой и теплым туалетом! Он был безмерно счастлив.

После того как Дед перестал быть поклонником зеленого змия, он стал следить за собой и подчинил оставшиеся годы жизни четкому графику. Вставал не позднее семи утра, слушал радио, делал что-то вроде физзарядки, умывался и сразу же после очень легкого завтрака (а ел он мало по веским причинам — экономии денежных средств, проблем с пищеварением и еще по многолетней привычке) работал до самого обеда. Он делал карандашные наброски к будущим гравюрам, картинам маслом либо акварелям, реже писал маслом, а иногда и печатал гравюры. Однако обычно это последнее занятие он оставлял на вечер. С некоторых пор тяжеловато стало, а молодые геологи с удовольствием помогали ему.

К обеду, то есть примерно к часу дня, Дед надевал зимнее пальто, поднимал воротник, напяливал глубоко на уши неизменную шляпу, которую носил и в пятидесятиградусные морозы, надевал войлочные боты «прощай, молодость» и шел гулять, помахая сучковатой, но изящной палкой из даурской лиственницы, до блеска отполированной его рукой. Первым местом, где Дед тормозил, был книжный магазин, занимавший старый деревянный барак. Он был неказист снаружи и внутри, зато зимой в нем было всегда тепло, а летом — прохладно. Если был очередной привоз литературы, то Дед обзаводился новыми книгами. Преимущественно он покупал книги по искусству, иллюстрированные альбомы отечественных и зарубежных художников, а также поэтические сборники и прозу.

Большую часть своей мизерной пенсии и тех денег, которые удавалось выручить от продажи гравюр и иногда картин, Емельянович оставлял именно здесь. Молодые продавщицы любили Деда и откладывали ему лучшие книги из новых поступлений. Помимо покупки книг и альбомов по искусству в местном магазине, он пользовался еще услугами службы «Книга — почтой».

Потолкавшись минут пятнадцать у прилавка, рассказав какую-нибудь смешную историю из своей богатой жизни или анекдот, Дед двигался дальше. Заходил в промтоварный магазин-универмаг, чтобы просто поболтать с продавщицами, среди которых были милая татарочка по имени Венера и кореянка по фамилии Ким.

После промтоварного магазина Дед, помахивая палочкой и раскланиваясь со всеми встречными, продолжал свою прогулку. Как-то раз, оказавшись на улице в предобеденное время, я стал свидетелем забавной сценки. Навстречу Деду по заснеженной, с метровыми сугробами, дороге шел второй секретарь Среднеканского райкома партии по фамилии Дрозд. Несмотря на птичью фамилию, это был степенный и солидный мужчина, недавно появившийся в нашем поселочке. Узрев его, Емельянович снял шляпу и в пояс поклонился, как крепостные крестьяне при приближении коляски барина на полотнах художников-передвижников. Дрозд поморщился, но деваться было некуда, и он приветливо кивнул Деду, сделав вид, что не заметил его проделки. Друзья рассказали мне потом, что это обычная манера Деда здороваться с людьми из райкома партии, почему они, завидев его издалека, спешили перейти на другую сторону улицы.

Перед тем как пойти в столовую, Емельянович заходил в клуб, расположенный в самом центре поселка, и в зависимости от полученной информации о фильме, который будут показывать вечером, обзаводился (по благу, без очереди!) или не обзаводился билетом на вечерний сеанс. Билеты продавала Ксения Семеновна Модилова, весьма экстравагантная дама, по слухам родственница Бунина, когда-то жившая в граде на Неве, но затем сменившая его по каким-то причинам на лагерные бараки Третьей фабрики и свежий воздух колымской тайги.

Обычно после обеда Дед заходил к нам в экспедицию и минут по десять-пятнадцать проводил время в беседах с геологами на различные темы. Нас, молодых ребят, Емельянович привлекал прежде всего своим неиссякаемым оптимизмом и философским взглядом на жизнь. Он был на удивление расположен к людям и умел внимательно слушать других, всем своим видом демонстрируя живой интерес, что является редким даром истинных мудрецов. В его обществе было как-то удивительно легко и комфортно, сразу становилось легче на душе и думалось о себе лучше. В то же время с теми, кого не любил, особенно по прежним временам, он был язвителен и подчас резок. После общения с геологами Иван Емельянович возвращался домой, неся в руке авоську с продуктами, купленными в магазине около столовой. И опять рисовал, либо писал картины часов до семи вечера. Затем следовало вечернее чаепитие, чтение книг и просмотр приобретенной литературы. Спать Дед ложился довольно поздно.

Мы любили заходить к нему вечером, он всегда радовался гостям. Обстановка в его квартирке была спартанской, дом содержался в чистоте и порядке; вдоль стен стояли стеллажи с книгами, а в одном из углов помещался стол с самодельным приспособлением (станком) для производства линогравюр.

За окном синел вечер, розовели вдали на другом берегу реки покрытые снегом сопки, а я и мой друг Олег садились прямо на пол на потертый коврик и с удовольствием рассматривали альбомы. Коллекция альбомов у Емельяновича была замечательная: тут тебе и скульптура Древней Эллады, и этруски, и мастера эпохи Возрождения, и классицизм, и барбизонцы, и передвижники, и импрессионисты... Это у него мы впервые узнали о Сальваторе Дали и посмотрели первый альбом Ильи Глазунова, выпущенный, если мне память не изменяет, в 1972 году.

Дед, сидя позади нас в ветхом кресле, время от времени выдавал свои комментарии по тому или иному поводу. Они были интересны, а подчас весьма забавны. Когда Емельяновичу особенно нравилась какая-нибудь картина в альбомах, которые мы смотрели сидя на полу, он говорил про нее: «С настроением!»

Дед никогда не был женат, но случилось так, что вроде как сынок у него имелся. Когда бесконвойным он находился на службе в семье известных геологов Сеймчанского РайГРУ, мать и отец мальчика, за которым он присматривал, очень много времени проводили на работе. В деталях не знаю, но ребенок значительную часть дня был с Дедом.

Мальчик, Игорь Шабарин, окончив школу, уехал в Ленинград, поступил в Горный институт и получил диплом гидрогеолога и инженерного геолога. Затем он вернулся в Магадан и стал там работать. Игорь очень любил Ивана Емельяновича, считая его своим вторым отцом. Дед отвечал ему взаимной любовью. Когда Емельянович был помоложе, Игорь иногда брал его с собой на полевые исследования. Среди работ Деда этого времени преобладают гравюры и картины маслом с быстрыми речками и обычно горами замшелых валунов на переднем плане.

Игорь, по-видимому, пошел в геологию из-за любви к природе. Он любил путешествовать, особенно на плавсредствах. Среди хороших друзей Игоря был Олег Куваев. Летом 1975 года они собирались сплавиться на байдарках по рекам Седедеме и Алазее, на косах которых в то время было множество красивых агатов. Предварительно Шабарин и Куваев планировали посетить в Сеймчане Деда, который также был знаком с Куваевым и встречался с ним и в Магадане, и «на материке». Они переписывались. Дед зачитывал Олегу Леонидову и мне некоторые из этих писем. Куваев жил в пригородном доме под Москвой и работал над новым большим романом. В одном из последних писем он писал: «Сейчас пишу роман про бичей. Мне кажется, будет интересно. Надеюсь, что это будет лучшее из того, что я до сих пор написал. Не исключены трудности при его опубликовании». Вскоре его не стало.

Про лагерную жизнь Дед, естественно, не очень-то любил рассказывать, хотя иногда его «пробивало». Вспоминая прожитое, вдруг замолкал, а потом говорил тихо: «Да-а-а... разное бывало».

Емельяновичу перед тем, как оказаться в колымских бараках, пришлось проделать длинный путь в спецвагонах через всю страну не с одним пересыльным пунктом до Владивостока и Находки, а потом морским путем при сильной качке, когда все эски в трюмах лежали вповалку в блевотине, от порта Ванино до бухты Нагаева в Магадане, далее этапом по Колымскому тракту (всего от Магадана более пятисот километров). Это нелегко даже представить.

Из его редких серьезных воспоминаний о лагерной жизни (обычно же это были всякие байки) мне запомнился почему-то рассказ о том, как при получении переводов с воли эски вывлялись и затем жестоко били тех, кто «стучит» и получает за это деньги из какого-то номерного источника. Тогда мне этот рассказ показался неинтересным и запомнился лишь потому, что в нем в качестве пострадавшего фигурировал один из старейших работников нашей экспедиции. Позднее о совершенно аналогичной ситуации я прочитал у Солженицына в его книге «В круге первом».

Однако такой безысходности и ужасов, которыми пропитаны рассказы Шаламова, прочитанные мною много позже, в его повествованиях не было. Видимо, все-таки очень много зависит от восприятия конкретной личности.

Лагерная тематика в творчестве Деда представлена небольшим числом работ. Наиболее известна среди них гравюра «Этап», выставленная на упомянутой выше выставке в Москве в период «хрущевской оттепели». Кстати, Колымская трасса и путь от Сеймчана вверх по одноименной речке до наиболее страшного по рассказам многих лагеря «Каньон» крепко врезались в память Деда и стали темой многих его линогравюр, акварелей и картин маслом со звучными названиями: «Озеро Джека Лондона», «Озеро Танцующих хариусов», «Оротук». Почти неизменным атрибутом всех его колымских пейзажей является крест (или кресты) вдоль дороги, петляющей среди сопков и излучин рек, причем нередко этот крест находится на переднем плане. Надо сказать, что это очень не нравилось местным и областным начальникам, когда речь заходила об организации какой-нибудь персональной выставки любого масштаба — скажем, даже в красном уголке экспедиции или тем более в нашем поселковом клубе, не говоря уж о Магадане.

Вердикт их не отличался оригинальностью: «Упадочническое искусство. Надо воспевать героический труд энтузиастов советского Севера. Где это оно столько крестов взял? Их в этом месте никогда и не было. Да и вообще...» Как-то раз геологи экспедиции, чтобы помочь финансовым проблемам Деда, развесили его гравюры и несколько картин маслом в красном уголке, куда был свободный доступ всем желающим. Гравюры, хоть и по мизерной цене, неплохо раскупались. Но об этом стало известно в райкоме, тем более что из Магадана прилетело какое-то начальство. Получился скандал, хотя до магаданских ушей он не дошел. Все зачинщики были вызваны в райком, где помимо партработников присутствовал и председатель поселкового Совета Дягилев. В райкоме развесили и разложили на столах гравюры, а председатель, естественно, стал главным художественным критиком.

Одна из новых линогравюр Деда называлась «Колымская Венера»: на траве на крутом берегу бурной реки, поджав под себя крепкие ноги и выпятив грудь, сидела обнаженная якутская девушка и смотрела вдаль. Всем нам сразу стало ясно, что Дягилева, якута по национальности, более всего возмутила именно эта гравюра, но для начала он, конечно, прошелся по крестам. Затем, закрыв ладонью фигуру и оставив лицо, он промолвил: «Что за песья морда, песья и есть». Никто, впрочем, особенно не пострадал, не те уже времена были: семидесятые годы — не начало пятидесятых, но двое молодых геологов (муж и жена), собиравшихся после полевого сезона в отпуске посетить по туристическим путевкам братскую Венгрию, не смогли в Магаданском обкоме партии получить разрешение на выезд. Между прочим, гравюра «Колымская Венера» в середине восьмидесятых годов теперь уже прошлого века висела в кабинете № 42 на Мойке, 120, где тогда размещался Геологический отдел.

Я, конечно, знаком далеко не со всеми произведениями Ивана Емельяновича и не собираюсь выступать в качестве критика, говоря о каких-то периодах в его творчестве. Вместе с тем, из того, что я видел, могу предположить, что Дед кардинально изменил манеру своего письма на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов. Его рисунки (скорее, наброски) раннего послелагерного времени, когда основной темой их были первые покорители севера Сибири — казаки-землепроходцы, Черский со своими спутниками и семьей, исполнены в несколько лубочной манере (сугубо с моей точки зрения) и близки почерку Перова и отчасти раннего Васнецова. Работам позднего периода свойственен более резкий и жесткий, если так можно выразиться, рисунок. Тематика — сопки, поросшие чахоточными лиственницами и корявым кедровым стлаником, а также гольцы с крутыми склонами и одинокими деревьями с обломанными верхушками и обязательные кресты на переднем плане. Если присутствуют персонажи, то это — местное население с ярко выраженными монголоидными чертами в окружении собак либо геологи в маршруте и на стоянках.

Привлекала Деда и тема острогов с часовенками и небольшими церквушками, расположенными в красивых местах и, как и положено им, около воды, но на возвышенных участках рельефа. Эти рисунки обычно были выполнены цветными карандашами с преобладанием синих цветов широкой тоновой гаммы. Мне кажется, в Бога Дед не верил, но крест на шее носил, что было тогда редкостью.

В то время, когда я был знаком с Емельяновичем, он почти не рисовал и не писал с натуры. «У меня все в голове и в сердце», — говорил он. Среди гравюр наиболее удачными, с моей «кочки» зрения, являются две — «Табун» и «Последний друг». На первой, где по долине реки несутся лошади, не зная куда и зачем (другое название — «От себя не убежишь!»), — сплошная динамика, экспрессия; на второй гравюре, где среди белого безмолвия снег заносит нарты и замерзшего каюра, а рядом сидит и воет его верная ездовая лайка, — тоска и статика.

Маслом и акварелью Дед писал ту же Колымскую трассу, окрестности Сеймчана и «Каньон». На гравюрах и рисунках цветными карандашами пейзажи в целом и осо-

бенно горные гряды несколько искажены и стилизованы (например, склоны гор подчас весьма круты), а на картинах, написанных красками, соблюдены пропорции и все в порядке с композицией и перспективой, пейзажи реалистичны. Впрочем, это не всегда так. Исключением являются пейзажи каких-то диковинных стран с бордово-красными горами-утесами, сиренево-оранжевым небом, почти зеленым с белыми барашками морем, яркими угловатыми фигурами рыбаков и рыбачек на коричневато-оранжевом песке. Что-то от Грина и Паустовского одновременно.

Очень удивительно такие пейзажи смотрелись в небольшой квартирке Емельяновича, особенно когда за окном темень, туман и «шепот звезд», то есть температура воздуха не выше сорока — сорока пяти градусов мороза. Этому посвящена картина Деда под названием «-50°», написанная в пастельных светло-желтоватых с переходами к светло-серым — белым — белесым тонам. Контуры дома (скорее всего, метеостанции), телеграфного столба, людей и, вероятно, собаки размыты и как бы «дрожат», как это и бывает в сильные морозы с туманом; в центре картины громадное солнце висит над домом и окружено ореолами. Его любимая фраза — «С настроением!» — мне кажется, очень подходит к этой картине.

Нам льстило, что Емельянович прислушивался к нашему мнению относительно его работ. Временами Олег любил подразнить художника: «Ну где это вы видели такое освещение? Здесь, по крайней мере, три источника света». Дед моментально заводился, терял всякое чувство юмора и свое обычное красноречие. Он сдвигал седые косматые брови и бубнил: «Так и булó!» Олег, переходя на «ты» (чему Емельянович совсем не противился), в таких случаях продолжал: «Ну, Дед, ты даешь! Ты — художник или фотограф?»

Но хватит о живописи. Иван Емельянович был личностью. Мы поражались его отношению к жизни, его оптимизму, доброжелательности и силе духа при становящейся все более бестелесной комплекции. В 1975 году я собирался в отпуск за три года, поэтому вернулся в Сеймчан с полевых работ рано — во второй половине сентября. Покончив с делами, я поспешил к Деду и узнал, что он в больнице. К этому времени в нашем поселке был построен новый, достаточно современный для тех мест медицинский корпус. Дед лежал в отдельной палате. Все было чисто и аккуратно; в окно светило осеннее солнце. Лицо Емельяновича бледно-желтого цвета, изрытое глубокими бороздами морщин («следами бывлых улыбок»), было спокойно. В белой рубашке, он походил на какого-то пророка. Рядом на тумбочке лежали книги. Мы поговорили на разные темы. «Говорят, у меня от печени ничего не осталось, а медсестра никак вены найти не может, чтобы укол сделать», — вдруг сказал Дед и улыбнулся. Потом, помолчав, добавил: «А хотелось бы выкарабкаться». Через два дня я улетел «на материк», перед отъездом еще раз заглянув к Деду.

В январе 1976 года, находясь в отпуске в Ленинграде, я получил телеграмму из Сеймчана о том, что Иван Емельянович скончался. Ему шел семидесятый год. Позднее одна из медсестер рассказала нам с Олегом, что при вскрытии тела врачи были поражены, до какой степени изношены все жизненно важные органы Деда. Держался он последние годы исключительно благодаря своей силе воли и жажде жизни.

На колымской земле Иван Емельянович прожил в общей сложности тридцать восемь лет.

САША ПОЖАРСКИЙ (АБАЖУРСКИЙ)

Был ранний апрель. Мы готовились к «весновке». Мой начальник и я занимались вулканизацией лодки, когда в кабинете появился высокий прилично одетый мужчина лет тридцати в солнцезащитных очках и вежливо поинтересовался, туда ли он попал.

«Да, туда, это — кабинет Конгинской партии. А вам, собственно, чего?» — «Да вот, хочу устроиться завхозом на полевой сезон».

Мы были озадачены. Должности такой по штатному расписанию, естественно, нет, но нужен рабочий, который остается на полевой базе один, когда остальные сотрудники на две-три недели расходятся по маршрутам. А когда вся команда числом в десять — двенадцать человек возвращается на три-четыре дня передохнуть перед новыми маршрутами и затариться продуктами, он готовит им пищу и печет хлеб. На это место обычно берут опытного, относительно пожилого мужичка, лучше флегматика и с хорошими нервами. А тут такой почти голливудский герой! Ну совсем не тот кадр, но деваться было некуда — вылет в поле «на весновку», то есть на строительство базы, через несколько дней.

Так мы познакомились с Сашей Пожарским.

Надо сказать, с ним было не скучно. Еще до отлета из Сеймчана он успел рассказать нам много забавных случаев на самые разные темы, повеселить вполне приличными анекдотами и, в отличие от абсолютного большинства наемных рабочих, совершенно не требовал денег и вел себя независимо. Только перед вылетом, после загрузки Ли-2, я узнал, что паспорта у него пока нет и устроился он к нам на работу по справке об освобождении, с тремя судимостями общим сроком более восьми лет. Первые две отсидки были покороче, а последняя четыре года, и все за жульничество. Да, мелькнуло у меня в голове, хороший кадр на место завхоза, ничего не скажешь.

В Омолоне мы просидели несколько дней. Утром и иногда в обед питались в столовой недалеко от аэропорта. Готовили здесь великолепно — если зайчатина, то такое бедро, что не помещалось в тарелке и радовало глаз поджаристой, аппетитной корочкой, а если оленина, то либо свежая печень, либо языки. Я пропускал рабочих в очереди вперед себя и затем платил за них. Они, конечно, говорили, что сами найдут дорогу в столовую, и всячески пытались выпросить деньги. Один только Саша денег не просил. Через несколько дней я стал замечать, что его большой рюкзак становится меньше объемом, а мои рабочие ходят не совсем трезвые. Как выяснилось потом, когда он перед этим был в поселке Ола на рыбалке, то запаса там сетями, справедливо рассудив, что они понадобятся ему в дальнейшем в качестве твердой валюты.

В полевых условиях Саша оказался удивительно умелым, сообразительным и хорошим работником. Он умел работать топором, хорошо готовил, пек вкусный хлеб в бочке-пекарне... А главное, был почти всегда в хорошем настроении. Все у него спорилось в руках. Он не уставал рассказывать нам все новые и новые забавные истории.

Саша поведал мне, что он из семьи довольно крупного партийного работника города Свердловска и своей непутевой жизнью подтверждает известную поговорку «В семье не без урода», так как уже с восьмого-девятого класса пошел по скользкой преступной дорожке. «Дурачком был. С такой ерунды начинали. Зайдем, например, с дружком в универмаг в плащах. Оба молодые, веселые, красивые; оба трепачи. Он пиджачок примерит, я — брючки, или наоборот. Потом, пока один с продавщицей треплется, другой выходит. Второй — за ним и сразу на автобус до ближайшего комиссионного магазина, где и скидываем добычу. И вот ведь, заразы, за новый костюм в комиссионке сразу скидка до двадцати процентов. Где справедливость?»

Когда мы явились на базу после первого захода, то нашли Сашу в полном здравии и хорошем настроении. Он не тяготился одиночеством. Сделал полочки в предбаннике, удобный сход к воде по крутому берегу, наловил хариусов, навялил и накопил их. Около его нар в палатке валялись художественные книги нашей полевой библиотеки и даже «Общая геология».

После бани, вечером, мы немного, грамм по двести, выпили с рабочими. Саша приготовил отличную закуску и напек блинов. Все было нормально, но утром, к нашему удивлению, рабочие были смертельно пьяны и вповалку спали около палаток,

облепленные комарами. Один Саша, хоть и весьма помятый, был вполне адекватен и пригласил нас завтрак вовремя. Это продолжалось еще два дня. Не надо быть Пинкертоном, чтобы догадаться, что Саша где-то ставит брагу, а скорее — гонит самогон. Где идет этот процесс, обычно вычислить в полевых условиях несложно, но в этот раз нигде не было никаких следов. Так наш завхоз впервые показал зубы.

Однажды мы, находясь в маршруте на горной гряде, увидели высокий густой столб черного дыма. Явно это горел смолистый кедровый стланик, который в изобилии рос на вершинах пологих сопок среди болот, окружающих нашу базу. Когда я вернулся из маршрута, начальник, тоже видевший столб дыма, сказал: «Надо идти туда и выяснить, что с базой. Заодно и хлеба сюда притащите». Но оказалось, что горит не на базе, а в нескольких километрах от нее на другой стороне реки Карбасчан. Как говорится, от сердца отлегло. Саша встретил нас радушно, накормил, напоил после бани и рассказал, что пожар произошел в результате возгорания сухой травы при взлете вертолета три дня назад. А сел этот вертолет, завозивший почту геологическим партиям, на болоте для того, чтобы разделать убиенного сохатого и потом снабдить мясом эти же партии.

Вертолет заправился из бочки, которую затем выбросили из него на траву. При взлете кто-то обратил внимание, что на хвосте вертолета огонь, и сообщил первому пилоту. Тот буквально «бросил» борт вниз и действительно сбил пламя, но зато хвост отвалился, полыхнула сухая трава и огонь стал быстро съедать кочку за кочкой. Экипаж и геологи пытались загасить начавшийся пожар, но поздно — поезд уже ушел. «Два дня назад прилетел другой борт и увез потерпевших. Зато привез и оставил здесь пожарных, которые вчера растворились в тайге», — пояснил Саша.

Саша очень смешно и в лицах рассказывал, как выглядели пижоны-летчики в белых, модных тогда нейлоновых рубашках, в форме и в туфельках после четырехкилометрового перехода по кочке от места падения вертушки до нашей базы.

Первый пилот сразу сказал Саше, что хочет с ним поговорить с глазу на глаз. Слегка замаявшись, он произнес: «Дело тут такое, что светит мне небо в клеточку. Выручай, Саша. Мы уже отправили радиogramму о падении вертушки и сказали, где нас искать. У комиссии будет вопрос, зачем я сделал посадку в четырех километрах от вашей базы. Скажи, что ты шел стрелять, например, гусей, увидел вертолет, снял накомарник и стал им махать. Мы решили — ЧП и, соответственно, сели в этом месте, а когда стали подниматься, от выхлопа загорелась трава». Саша ответил: «База нет. Вижу, вы пацаны нормальные, все будет путем», после чего накормил их, напоил и в чистые вкладыши в спальных мешках спать уложил. И действительно, как потом выяснилось, он так замечательно сыграл свою роль, что члены комиссии, слушая его, чуть не прослезились, а командир Ми-8 получил благодарности за решительные действия и спасение команды. К этой истории я еще вернусь.

В другой раз Саша в своей обычной скоморошечьей манере рассказал, что он человек бедный, потому что платит государству алименты, поскольку более трех лет находился во всесоюзном розыске, а стоит это дорого. За это время поколесил он по стране, и будто бы было у него четыре «ксивы» (паспорта), но больше всего ему нравился документ с фамилией Абажурский.

От безденежья и боязни попасться на каком-нибудь мелком нарушении закона странствовал он по деревням средней полосы и нанимался на временные работы. То с группой бродяг за предложенные неплохие деньги ломал старую часовенку, да не тут-то было. Раствор, который скреплял кирпичи, оказался такой крепкий, что даже кирпичи ломались, а ему — хоть бы что (наверно, на яйцах замешан был). То подвизался пасти коров, которых раньше видел преимущественно на картинках, и будто бы один доброхот из местных пьянчуг подсказал ему, как пасти, чтобы коровы не разбежались, а выглядели сытыми. Нужно было с утра дать им полизать промысловой соли, которой было вдосталь на соседнем складе, а уж потом гнать на поле около речки. Коровки, не

разбегаясь, немного стощиплют травку и в реку — хлебать воду. Глядишь, и на месте, и вид у них справный. Только вот с молоком плохо. Еле потом ноги унес.

И решил тогда Саша податься на Соколово-Сарбайское месторождение, где, по слухам, его старший путевый брат с высшим техническим образованием работал вторым секретарем райкома партии. Оказавшись на месте, Саша выбрал время, когда брат шел домой на обед, и в малолюдном месте пошел сзади. «Витя, не оборачивайся. Это твой непутевый брат Саша. Я во всесоюзном розыске, документ в порядке, но ФИО другие. Устрой меня на работу. Ты знаешь, я многое умею. Лучше всего в мехцех. Но, если хочешь — заложи меня, я в претензии не буду. Сам не знаю, как поступил бы на твоём месте».

Так он стал работать автослесарем (документ, тоже поддельный, имелся). Дали комнатку в общежитии, участвовал в местной самодеятельности, выпуске стенгазеты. Совсем не пил. Стали его начальники на охоту с собой брать. А охота такая — уедут в степь на какой-нибудь сай, напьются и стреляют по бутылкам. Наш герой за ними ухаживает, потому в фаворе, да и премии в конце квартала. Отъелся, наконец.

Начальство стало интересоваться, почему не в комсомоле, обязательно вступить надо. Саша и так, и сяк: «Не достоин пока, не созрел», — ведь не скажешь, что из комсомола еще в восьмом классе выгнали. Приезжает молодая специалистка, после техникума. Спортсменка, комсомолка, отличница. Влюбилась в Сашу, а он от нее бегаёт. Ну зачем ему это, да и девочку жалко. «Ведь что-то же человеческое во мне осталось», — говорил он нам, смеясь. Кончилось тем, что пришлось сыграть свадьбу, да еще и комсомольско-молодежную. Дали молодоженам однокомнатную квартиру. Живут-поживают, горя не знают. Саша показывает нам фотографию: «Это дом, где мы жили. Это моя собака, а это — моя жена».

И вдруг очень приятным баритоном поет: «Я встретил вас, и все былое...». Жена, кажется, в положении. Солнечный день, но ветерок, и с утра не жарко. Саша в мехцехе на лежаке под ГАЗом закручивает какую-то гайку. Слышит шум мотора, подъезжает «раковая шейка» — милицейская машина. Из нее выходит участковый и еще двое в штатском. Подходят к Сашину начальству, потом к машине, под которой Саша. Все ясно. «Абажурский?» — «Он самый». — «Тут, знаете ли, что-то не то с паспортом, вылезайте». — «Да что вы, у меня работа срочная». — «Ничего, работа потерпит».

Садятся в машину, причем Саша собирается сесть с краю, но его сажают между двумя штатскими. Заезжают домой к Саше за паспортом, жена дома. «Ой, Саша, почему ты с милиционером? Ты что-то натворил?» — «Конечно нет, моя радость. Ты ж меня знаешь. Что-то с паспортом, я скоро вернусь, но дай мне ватник, что-то знобит, хоть на улице и жарко». Саша разъясняет нам: «Ведь придется спать на нарах, а жестко». После этого этапируют его в Свердловск к месту совершения противозаконных деяний, и получает он «пятерку», но выходит через четыре года за хорошее поведение. «Все имеет свой конец, свое начало», — поет наш питерский бард.

Закончился полевой сезон. Саша остался на базе с начальником, техником-геологом и еще несколькими рабочими. При прощании я спросил, не собирается ли он еще раз в поле с геологами. Саша засмеялся: «Да ты че! Понтов нет. Скучновато, да и не заработаешь тут у вас. Уж больно вы хорошие и простодушные ребята. Это все равно, что детей обижать. Посмотрел, кругозор расширил, и хватит. Учебник геологии Горшкова прочитал, полезно. Может, геологом где-нибудь прикинусь».

Когда после отпуска я вернулся в Сеймчан, мой друг Олег рассказал новости. Оказывается, Саша умудрился обыграть буквально всех наших рабочих подчистую в карты на все их полевые заработки. При этом вначале не участвовал в играх (играли в очко и в буру). Приглашали и его. Он в своей обычной манере отвечал, что шулер и поэтому им играть с ним бесполезно. Естественно, завел ребят, и они, чуть ли не насильно, усадили его играть. И вот вам результат, одиннадцать негрят!

И это еще не все. Когда Саша, балагура и совершенно заговорив нашу очень опытную кассиршу, получал в кассе свой расчет, та выдала ему значительно более крупную сумму. Уже после его отъезда из Сеймчана она взволнованно говорила: «Он буквально загнипнотизировал меня. Никогда со мной такого не было». Позднее выяснили, что Саша уехал в Тайск, и послали туда письмо с просьбой вернуть деньги, что он и сделал, вероятно решив не светиться лишний раз.

Теперь продолжение истории с летним пожаром около нашей полевой базы. Первый пилот Ми-8 рассказал как-то в приватной беседе, что, когда попросил Сашу дать комиссии соответствующую версию случившегося, Саша, кивнув головой, ответил: «Дело серьезное, командир. Плохо тебе там будет! Помогу я тебе, но вы люди богатые, а я — бедный. Короче, пятьсот рублей и пилотская форма. Все будет в ажуре». Обалдевший командир выдал из себя: «А форма-то тебе зачем?» — «Да уж больно красивая, и для дела может пригодиться».

Зимой Олег был в командировке в Магадане. На одной из улиц навстречу ему, слегка прихрамывая, шел высокий симпатичный пилот, улыбаясь во все лицо. «До чего физия знакомая. Где ж я его видел?» — вспоминал Олег. «Что, своих не узнаешь?» Это был Саша, форма очень ему шла. «Ну, как ты?» — спросил Олег. «Да вот, переучиваюсь на Як-40. Кстати, пусть начальник ваш не сердает. Это я «Спидолу» из вьючника взял как сувенир на память о сезоне и о вас — хороших ребятах».

И больше мы ничего о нем не слышали. Не те времена были для таких, как Саша; вот сейчас он, возможно, был бы уже в списке «Форбса» и баллотировался в президенты страны.

ИГОРЬ СОЛОВЬЕВ

Это одна из наиболее экзотических фигур НИИГА-ВНИИОкеангеологии. Маленький, подвижный как ртуть, крепкий, как корень кедрового стланика, человек с копной густых и кудрявых (сейчас, конечно, уже седых) волос, при появлении которого всегда начинается удивительная неразбериха, смех и веселье. Он брызжет неиссякаемым оптимизмом, энтузиазмом, добротой и самопожертвованием. Для друга в буквальном смысле готов снять с себя последнюю рубашку. Говорит очень громко (чему способствует, кроме его сангвинического темперамента, некоторая природная тугоухость), слегка заикаясь и постоянно дергая за рукав или ударяя кистью своего собеседника чуть выше локтя, так что если вовремя не уклоняться или не подставлять разные бока, то рискуешь занять синяки. Об Игоре можно рассказывать бесконечно.

История первая

Когда началась Великая Отечественная война, Игорь с мамой и бабушкой жили в доме № 5 по Невскому проспекту — вход со двора. Первого сентября 1941 года Игорь пошел в первый класс. Школа находилась недалеко — на другой стороне Невского проспекта со входом под арку дома № 14. Сейчас на стене этого дома около арки имеется надпись белым по синему фону: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», просуществовавшая без малого все девятьсот дней ленинградской блокады, начавшейся, как известно, восьмого сентября 1941 года, то есть через неделю после того, как мама и бабушка привели Игоря в школу.

Окружающий мир изменился коренным образом, мира уже не было — была война. Начались бомбежки и эвакуация детей из осажденного города. Его с другими маленькими детьми все-таки отправили по «дороге жизни» на Большую землю. Игорь, будучи мастером мимики и телеграфного стиля изложения разговора, рассказывает: «Бабушка буквально вытолкнула меня в колонну эвакуирующихся детей; я орал и цеплялся за ее юбку». Его мама, кажется, жила в это время в Москве.

Затем была жизнь в различных детских домах с постоянными побегам, поимками и приводем в детприемники, поскольку Игорь, будучи очень уживчивым, незлобивым, нетребовательным и достаточно послушным человечком, всегда был свободолюбив, не переносил насилия и ходьбу строем. Убежав, он каждый раз прибывался к какой-нибудь группе таких же пареньков, обитавших около железнодорожных станций вблизи эшелонов, отправлявшихся на фронт. Советские офицеры и особенно солдаты жалели мальчишек, гладили их по бритым либо уже успевшим зарости космами головам, кормили солдатской кашей. Когда я был с Игорем в поле, то поразился, как быстро он ест — даже быстрее меня, а таких людей я встречал очень редко. На вопрос, как это у него получается, Игорь ответил: «З-з-знаешь, Ж-ж-женя, когда т-тебе отваливают пайку г-горячей каши, например, в кепчонку, а затем ты сразу же бежишь и, обжигаясь, ешь на бегу, потому что ждешь, когда старшие пацаны дадут тебе по б-башке, ты еще и быстрее хавать научишься. А я всегда был самый младший и маленький на разъездах около эшелонов».

Находясь за Волгой, Игорь все время думал о родном городе и старался по мере сил двигаться на запад. Правдами и неправдами иногда удавалось проехать в нужном направлении. Наконец, уже ранней весной 1944 года он оказался в Ленинграде. Вместе с такими же мальчишками-беспризорниками Игорь первое время жил в одном из разрушенных домов недалеко от Московского вокзала. Как они питались и выживали, знает один бог. Перроны на вокзале в те времена были деревянными, и мальчишки, лазая под ними, собирали упавшие окурки. Игорь, правда, не курил и тогда. Пробовал — не понравилось. Делали самокрутки — меняли на еду, подворовывали, бегали от мильтонов.

Был и такой случай. Как-то Игорь шлялся по перрону, прикидывая, у кого бы раздобыть пожрать. Вдруг к нему подошел человек в темно-синей суконной форме НКВД, в руках у него был листок бумаги с фотографией и каким-то текстом. Посмотрев сначала на фото, а потом на Игоря, военный сказал: «А похож!» — и схватил его за руку. Изловчившись, Игорь укусил руку военного и дал стрекача. Как потом выяснилось, отец Игоря, разошедшийся с матерью еще до войны, искал пропавшего сына по просьбе бабушки. А был он офицером той легендарной организации, которую Богомолов описал в своем замечательном бестселлере «Момент истины» («В августе сорок четвертого») и которая называлась «СМЕРШ», то есть «Смерть шпионам». После войны был он в звании полковника этого подразделения и затем состоял в личной охране Ким Ир Сена.

Так вот, отец Игоря по своим каналам составил листовки для работников НКВД и милиции, где была фотография Игоря и описание его примет, среди которых были и такие: «любит подвижные игры, танцы и массовые скопления народа». Эта листовка и сейчас есть у Игоря. Тогда, конечно, мальчишка знать этого не мог, а потому испугался и убежал. За время отсутствия Игорь совсем забыл город, впрочем, он его и раньше-то не знал, поскольку покинул в возрасте всего восьми лет. Не помнил он и название улицы, на которой жил. Ребята ходили по Невскому проспекту не дальше его пересечения с Литейным, в крайнем случае — до Фонтанки. Но как-то раз, оказавшись один (что бывало редко), Игорь перешел Аничков мост и пошел в сторону Адмиралтейства. Когда он оказался около своей школы, в голове что-то включилось и сработало. Как сомнамбула, он перешел на другую сторону Невского проспекта, дошел до дома № 5, свернул под арку, вошел в одну из парадных и поднялся на нужный этаж. Толкнул дверь, она была не заперта. На кухне сидела и как раз пила чай его бабушка. Конечно, она, наверно, вскочила, ойкнула: «Ой, я знала, что ты жив!» — и разбила чашку. Но это ведь к счастью — бить чашки!

Так закончилась эта невымышленная история. Когда я ее пересказываю кому-нибудь, у меня всегда в конце повествования перехватывает горло, хотя я не очень-то сентиментальный человек. Впервые услышав эту историю от Игоря в поле, я сказал:

«Да ведь это — замечательный сценарий. Почему ты не расскажешь его своему сводному брату — Сергею». К тому времени Сергей Соловьев был уже довольно известным режиссером, он поставил фильм «Станционный смотритель» и какой-то еще. Игорь ответил: «Как-то раз, находясь у брата в Москве, я рассказал ему эту историю. Прислушав, он ответил примерно так: «Не пойдет, неинтересно. Сентиментально и нет правды жизни». Что ж, режиссерам виднее.

История вторая. Корейский пушистый крокодил

Года через два после войны бабушка как-то сказала Игорю: «С кем ты хочешь временно пожить: с мамой или папой?» Игорь поинтересовался, где будут находиться мама и где папа. Он знал, что они живут в Москве, но отдельно. Оказалось, что папа едет с новой семьей в Северную (социалистическую) Корею, где будет состоять в личной охране руководителя страны товарища Ким Ир Сена — большого друга всего советского народа и лично товарища Сталина. «Конечно, в Корею!» — закричал Игорь. Потом было длинное, муторное, но интересное путешествие по железной дороге (КВЖД) до Пхеньяна и совсем новая неизвестная обстановка.

Среди всех впечатлений от пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) наиболее яркими остались поездка с личным водителем отца на американском «виллисе» и один из приемов у Ким Ир Сена. Дело в том, что во время упомянутой поездки шофер остановил машину около какого-то невзрачного деревянного дома и велел Игорю подождать его с полчаса, не вылезая из машины. Конечно, подвижному пареньку очень быстро надоело сидеть в машине и он решил посетить запретное деревянное жилище. Как выяснилось, это был еще не закрытый к тому времени полулегальный дом, где молодые кореянки оказывали определенные услуги лицам противоположного пола.

А во время приемов у корейского вождя хорошо кормили, к тому же Игорь таскал на закорках сына и будущего преемника Ким Ир Сена — Ким Чен Ира. Последнему было тогда года четыре — он был ровесником младшего брата Игоря — Сергея Соловьева.

После возвращения в Ленинград к бабушке Игорь продолжил учебу в той же средней школе на Невском проспекте. Он сидел за одной партой с Жуковым. Жукова звали не так, как чеховского героя — Ванька, а совершенно обалденно — Рамзай. Родители его были геологом и проводили много времени в экспедициях на Кольском полуострове, откуда, вероятно, и привезли это странное имя — поскольку иностранец капитан Рамзай был одним из первых исследователей этого края. Кстати, Рамзай Жуков по сей день работает во ВСЕГЕИ имени А. П. Карпинского.

Дружба с Жуковым определила дальнейшую послешкольную судьбу Игоря — он пошел с Рамзаем в Горный институт, поскольку всегда был человек крайне компанейский: куда друзья, туда и он. Когда родители Жукова были в отъезде, он оставался, так же как и Игорь, с бабушкой. И мальчишки делали уроки и ели то у бабушки Игоря, то у бабушки Рамзая. По-видимому, прокуренная Рамзаева бабушка была философом и юмористкой. Она прозвала Игоря «корейский пушистый крокодил». Почему корейский? Не сложно. Потому, что Игорь приехал из Кореи. А почему пушистый? Потому, что ходил он в подаренном корейскими товарищами пальто с пушистым воротником из какого-то экзотического зверя. Теперь — почему крокодил? Да потому, что Игорь отличался замечательным аппетитом, ел быстро и мог съесть что угодно и в любой последовательности. Вот и вся историйка.

Истории предполые

1. Как-то раз перед поездкой в Северную Якутию лет пятьдесят тому назад Игорь вместе с одним из коллег — рыжим техником-геологом с ласковой фамилией Пчелкин отправился на медосмотр в поликлинику имени Чудновского за Фонтанку. Стоял жаркий июньский день, было под тридцать градусов. Полнейший штиль. Однако друзей мучила жажда не только по причине мощного антициклона — вечером про-

шедшего дня они несколько злоупотребили крепкими напитками. Конечно, плюнули бы они сегодня на медосмотр и отправились куда-нибудь под сень тополя или лип, где подчас так уютно располагаются ларечки с холодным пивом и вяленой рыбкой. Но был полный дефицит времени — вот и спеша в эту Чудновку. К тому же и пива выпить не получается, поскольку в карманах гуляет ветер, которого так не хватает в окружающей душевной атмосфере.

Когда две понурые мужские фигуры (один — метр шестьдесят «с кепкой», другой — амбал под метр девяносто) подошли к двери кабинета с надписью «Хирург», то стало ясно, что ждать своей очереди придется долго. Поэтому Игорь, подхватив своего друга-громилу под руку, без особой дикции выпалил: «О-о-о-с-собый с-с-случай...» — затем после паузы на всякий случай добавил более внятно: «Т-т-только с-с-справка... Мы п-пулей...» После чего оба с завидной для их состояния быстротой оказались в кабинете врача. Сухонький и седенький врач-хирург, по-видимому, давно перешел границу пенсионного возраста. Ох уж эта жарница! Чувствовал он себя, мягко говоря, неважно. Потому — махнул рукой на то обстоятельство, что в кабинет зашли сразу два человека, лопатавшие какую-то чепуху по поводу своего совместного вторжения.

Первым пошел на осмотр Пчелкин. Игорь в это время сидел на стуле напротив, было скучно. Последовала команда врача: «Станьте ко мне спиной. Наклонитесь, спустите брюки и трусы, да-да, и трусы тоже». Когда длинный Пчелкин наклонился, лицо его оказалось напротив лица Игоря, каких-нибудь сантиметрах в тридцати. Мутные глаза Пчелкина встретились с глазами Игоря. Поскольку он хорошо знал своего коллегу, то прошептал: «Только молчи — ничего не говори!» Но было поздно. Игорь уже открыл рот, адресуясь к врачу, наблюдавшему Пчелкина с противоположной (тыловой) стороны: «Д-д-доктор, я в-в-вас в-в-вижу!» Врач почувствовал металлический вкус во рту, в сердце закололо. «Сколько вам лет?» На что Игорь, как поклонник телеграфного стиля изложения своего мыслительного процесса, заявил: «Т-т-тридцать т-т-третьего...» (Он имел в виду, что родился в 1933 году.)

Врач, наставив на Игоря свою худую длань, отвечал: «А вас осмотрит медсестра». Но это еще не вся байка. Когда доктор, борясь с жарой и недомоганием, подписал листки медосмотра, то вновь ощутил: опять накалило! И, потеряв сознание, грохнулся на пол. Есть версия, что этому поспособствовал брошенный на него исподлобья взгляд рыжего Пчелкина, который будто бы обладал магнетическим действием. Но это уже действительно байка. В этот момент медсестры в кабинете не было. Возможно, она после осмотра Игоря была под впечатлением и потому решила помечтать. Но нужно было что-то делать. Игорь — человек действия и принимает решения моментально (думает, правда, обычно потом). Указав на стоявшие в углу носилки, он предложил Пчелкину положить на них «утомленного солнцем» и пациентами доктора и вынести из кабинета. Что и было с блеском исполнено. Реакция очереди в коридоре была неоднозначная: кто негодовал и грозился дать в морду, кто хохотал и даже хлопал в ладоши, но все сходилось в одном: «Во дают! Мало того, что они без очереди влезли, так еще и доктора ухайдакали!»

2. «Я — яп-п-понский измеритель!» Как-то так получалось, что периодически в жизни нашего героя имели место или, если хотите, в его жизнь вторгались восточные (точнее, юго-восточные) мотивы. Это — уже описанное путешествие в Корею. Ниже пойдет речь о японской тематике. Дело в том, что дядя Игоря, работавший конструктором, как-то подарил ему перед полем замечательный никелированный измеритель из настоящей японской готовальни с японскими же иероглифами. При геологической съемке часто приходится снимать с топоосновы расстояние между точками. Это удобно, и, конечно, точнее делать не линейкой, а именно измерителем. Игорь был в восторге и делился со всеми своей радостью, постоянно демонстрируя дядин подарок.

Самолет летит в Северную Якутию, под крылом его «о чем-то поет зеленое море тайги». Группа веселых ребят в геологических костюмах уже прилично, как теперь

говорят, «приняла на грудь» крепких напитков: то поколение еще не знало кока-и пепси-колы. При этом Игорь был «веселее» и, как всегда, громогласнее всех, так что пассажиры и временами появлявшаяся в проходе красивая стюардесса (а тогда они только начинали летать на северных линиях и были в диковинку) с некоторой неприязнью поглядывали на этого живчика.

Но самолет уже шел на посадку, и особых замечаний геологам не делали: дескать, слезут с самолета и растворятся в своей тайге. Тут-то Игорь и вспомнил, что давно не показывал своим коллегам замечательный измеритель. Но где он? Начались лихорадочные поиски, и, к великой радости окружающих, Игорь замолк. В конце концов он вполне резонно решил, что сферу поисков следует расширить, присовокупив к ней пол самолета. Для этого он встал на четвереньки и начал ползать, внимательно осматривая пространство. Выйдя в салон самолета, очаровательная стюардесса увидела, что шепутной паренек-геолог, вместо того чтобы пристегнуться ремнем и ожидать, когда шасси ударятся о бетон посадочной полосы, продельвает что-то непонятное на полу.

Заинтригованная, она подошла к нему поближе, и Игорь вместо искомого измерителя вдруг обнаружил перед собой замечательной формы женские ножки, под стать описанным нашим незабвенным Александром Сергеевичем, однако был настолько поглощен поисками, что не среагировал на их прелесть, решив убрать с дороги, поскольку они мешали обзору пространства. Посему, взявшись за лакированные туфельки с внутренней стороны, он начал раздвигать их в разные стороны (заметим: совершенно без каких-либо задних, точнее передних, мыслей — Игорь потом клялся в этом, а человек он кристально честный!). Стюардесса опешила (любой бы тут опешил): «Вы... вы!.. Что вы делаете?!» Сосредоточенный Игорь кратко изложил: «Я — яп-понский измеритель». На самом деле он, конечно, хотел объяснить, что ищет японский измеритель, подарок дяди, что измеритель этот ему позарез нужен в маршрутах; однако, как всегда, использовал свой телеграфный метод изложения мыслей. Но ведь стюардесса ничего не знала ни про измеритель, ни про его потерю, ни тем более про метод Игоря излагать свои мысли.

P.S. О реакции стюардессы, последовавшей за действиями и репликой Игоря, нет никаких доподлинных сведений. О ней мы можем только догадываться.

Байка последняя. Об аппетите и пищеварении

Игорь всеяден, ест помногу и быстро, смакуя и смешивая в любых пропорциях подчас совершенно несовместимые блюда. Каюсь, как-то раз за ужином, будучи не в духе после неудачного маршрута и глядя, как Игорь смешивает первое и второе, я поинтересовался, не добавить ли туда еще компота из сухофруктов для полного букета и гармонии. Приподняв правую бровь, Игорь сказал: «Валяй, в-вкуснее будет!» Я, мерзавец, не удержавшись, бухнул кружку с компотом в его тарелку. Игорь быстро и с аппетитом освоил содержимое, затем, очистив миску краюшкой хлеба, сказал: «Очень вкусно было. Буду практиковать». Мне стало стыдно. На вопрос плохо знающих его людей, почему при таком аппетите он остается сухощавым и жилистым, Игорь серьезно и темпераментно отвечает обычно: «А у меня — всасывание и выхлоп; никакого рабочего хода! К тому же я семимесячный».

Гвозди бы делать из этих людей — не было б крепче на свете гвоздей!

СТУДЕНТ ПАХОМОВ

Студент Пахомов из Владивостока, проходивший у нас преддипломную практику, был, как и положено студенту, длинный, тощий и мосластый. Это был растущий организм, который постоянно требовал, чтобы для жизнедеятельности в его утробу

подбрасывали топливо в виде пищи. Он не успевал закончить еду, как уже опять хотел есть. Как говорил наш завхоз Саша Пожарский: «Володя серьезно болен — у него яма желудка». Особенно это было заметно на базе, где все хотя и обжирались, но все же соблюдали интервалы завтрак — обед — ужин. Володя же буквально через десять-пятнадцать минут после еды опять появлялся на кухне. При виде Саши он, отводя глаза, невинно вопрошал: «Попить можно?» Саша, забавляясь, отвечивал: «Конечно. Бери кружку — вон ручей». — «А чай есть?» — «Вон в чайнике». — «А сахар и хлеб с маслом?» — смелел студент. Саша хохотал.

У Пахомова был первый разряд по бегу на средние дистанции. Чтобы держать себя в форме, когда позволяла местность (около стоянок наличествовали более-менее ровные ягельные террасы и отсутствовала кочка), он, молодец, вставал пораньше и бегал с полчаса, пока лагерь не просыпался, чем, конечно, отличался от традиционного типажа студента, который и в маршруте-то спит на ходу, а уж утром его поднять...

Как-то раз, когда мы стояли в верховьях ручья Разведчик, всех разбудил крик. Он был очень странный, прерывистый. Описать его трудно: сначала какой-то горловой, затем резко обрывающийся, а после этого повторяющийся опять таким же образом. Мы все повывскакивали из спальных мешков, похватили кто карабин, кто ружье, кто молоток, кто топор и ринулись туда, откуда слышался крик. Все одновременно решили, что нашего Володю поедает медведь, а тот, находясь в его лапах, умудряется еще и кричать. Кстати, здесь в верховьях незалесенных ручьев с чистой водой, ветерком, отгоняющим комаров, и в изобилии созревшей голубиной, их местами было немало. За поворотом ручья мы увидели наконец быстро и правильно-красиво бегущего студента, который продолжал кричать, не видя нас. Остановились. Когда Володя подбежал к нам, начальник поинтересовался: «Ты чего это орешь спозаранку?» — «За мной бежала медведица с медвежатами». — «А чего так-то... странно...» — начальник не мог подобрать слова. «Так я на выдохе, чтоб не сбивать дыхания на бегу». — «Ладно. Что-то за тобой никого не видно». — «Так я потом и не оглядывался».

На шею Володя носил на грязном шнурочке ладанку из кожзаменителя, прошитого по периметру очень грубыми стежками. В плане она имела форму неправильной окружности с рваными краями. Что было в ней, неизвестно (может быть, локон любимой легкоатлетки, а может быть, бабушкина молитва от сглазу).

Володя был из тех редких студентов, которые чего-то пишут. Наверно, дневник. Когда я где-нибудь на вершине, продуваемой ветром, садился записывать свои полевые наблюдения, Володя, быстро промаркировав образцы, доставал заветную книжечку и принимался делать записи, изредка поглядывая на меня.

Лет через двадцать, в 1990 году я приехал в Магадан на тектоническое совещание. Помимо всем известной, еще дальстроевской гостиницы с одноименным городу названием, прямо около автобусной станции на углу Пролетарской и улицы Ленина, чуть далее по Пролетарской, появился ее второй современный корпус. В нем меня встретил плотный, начинающий жиреть бородатый мужчина. Он широко улыбался: «Не узнаешь?» Зрительная память у меня неплохая, но лицо и фигура были совершенно незнакомы. «Я — Володя Пахомов, был в шестьдесят девятом году на практике у Дылевского». Он протянул мне визитную карточку — главный геолог Верхне-Колымской экспедиции в Усть-Омчуге. Редко люди столь разительно меняют свою внешность. Володя стал известным золотарем. Успел, что тогда еще было редкостью, съездить на Аляску.

Прошло еще несколько лет, и один из моих магаданских знакомых, приехавший в командировку во ВСЕГЕИ, сообщил мне, что Пахомов работает уже не первый год на Аляске в одной из золоторудных компаний.

КЛИМ МИХАЙЛОВИЧ

Клим Михайлович Липский, сухощавый жилистый мужчина, заведовал экспедиционным складом, который, как и положено таким сооружениям, располагался на окраине поселка за его последними кособокими бараками по левой стороне дороги на Третью фабрику (бывший лагерь, где добывали оловянную руду). Перед входом на территорию склада, где зимой хранилось снаряжение полевых и стационарных партий, а перед полевым сезоном завозились новая спецодежда и продукты, находились ворота и небольшая рубленая деревянная проходная с печкой, где в рабочее время и сидел заведующий складом, а в ночные часы дежурил охранник с ружьем. Клим Михайлович был родом то ли с самой западной границы СССР, которая осенью 1939 года стала советской и где жили поляки, евреи, украинцы, молдаване и русины, то ли даже из Польши. Он очень хорошо говорил по-русски, но с ярко выраженным польским акцентом.

Осужден Клим Михайлович был по статье за национализм. Не знаю, каким уж там националистом был Липский, но знаю, что людей он оценивал уж точно не по пятой графе. Клим Михайлович говорил не спеша, любил пофилософствовать о жизни вообще и о предназначении в ней конкретного индивидуума в частности. Своего скептического отношения к коммунистическим идеям не скрывал, хотя особенно на эти темы не распространялся. У него была спокойная черноволосая жена с породистым, очень интеллигентным лицом. Она тоже прошла колымские лагеря, по национальности была наполовину русская, наполовину — голландка. Я, к своему большому удивлению, впервые узнал тогда, что после войны многие европейские государства, которые сейчас так любят говорить о демократии и правах человека, подписали с СССР соглашение, по которому все их жители, имеющие русские корни, могли быть интернированы на территорию своей исторической родины, что активно и приводилось в исполнение, причем особо (а точнее, совсем) не ориентируясь на желание интернированных. Некоторые из них, родившиеся уже не в России и не в СССР, даже не знали русского языка, что, впрочем, было редкостью. Таким исключением была и жена Липского. Ее отец, оказавшийся после революции в Голландии, женился на голландке, но оба родителя погибли, когда она еще была маленьким ребенком. Девочка воспитывалась потом в голландской семье, кажется даже не подозревая о своей национальности. Чудны дела твои, Господи! В конце войны она была уже молодой девушкой, когда, как говорится, и «попала под раздачу», проехав в закрытых вагонах от берегов Западной Атлантики до берегов Западной Пацифики.

У Липских было два замечательных парня — высоких, плечистых, с узкими талиями и красивыми лицами. Оба учились очень хорошо, были музыкальны и имели математические способности. Старший сын еще при моем пребывании в Сеймчане окончил школу и поступил на матмех в Ленинградский университет, который потом с блеском окончил, кажется, по специальности «математическая лингвистика».

Клим Михайлович был исключительно честным человеком и патологически не любил нечестных людей, что как-то совсем уж не вязалось с той должностью, которую он занимал. В конце шестидесятых — начале семидесятых годов Липский получил наконец разрешение посетить свою историческую родину. Вернувшись, он рассказывал нам о своих впечатлениях и наблюдениях. Они подчас были оригинальны, интересны и забавны. Например, о Польше: «Ну, что я могу сказать о своих земляках. Они и раньше-то не очень любили работать, а сейчас уж совсем разленились». О немцах и Германии, которую он также посетил в эту поездку: «Они, конечно, очень организованны, честны и, как правило, порядочны. Но им, как это ни парадоксально, нередко мешают именно их Ordnung, ведь если немцы получили приказ взять железнодорожный вокзал, то они обязательно перед взятием вокзала купят перронные билеты! Но что ведь поразительно: даже трудолюбивых немцев социализм испортил».

ДЯДЯ МИША

Дядя Миша, как все сеймчанцы звали высокого, мощного, чуть сутуловатого и слегка грузного, но все еще со следами бывшей военной выправки старика, был очень колоритен и своим внешним видом, и манерой поведения. Это настоящий осколок Российской империи: родом с юга Ставрополя, княжеского рода с фамилией Подкользин, родившийся еще в XIX веке. Он успел захватить конец Первой мировой и заслужить «География» в казачьих войсках, а в годы Гражданской войны в качестве казачьего есаула участвовал в белом движении «добровольческой» армии генерала Каледина, а затем из Крыма бежал в Турцию.

У дяди Миши очень интересная биография, где его удивительные странствия и скитания тесно переплетались с вымыслами. По природе своей он был игрок и авантюрист. Каким-то образом его занесло в Калифорнию, и он разбогател, участвуя в разработке золотых россыпей. Потом прогорел и оказался в Африке, где подвизался на плантациях какао. Опять что-то помешало стать богатым, и вот он уже в Китае, в Харбине, где в 1945 году арестован советскими чекистами и отправлен в колымские лагеря за шпионаж в пользу Японии. В США у дяди Миши была дочь, по местной легенде (может быть, и на самом деле) — ну очень богатая!

Дядя Миша, несмотря на русскую фамилию, имел северокавказскую внешность с обязательным ее атрибутом — усами — и говорил с сильным горским акцентом. Он был обладателем скульптурного лица с внушительным орлиным профилем и мощным лбом. У нас в поселке дядя Миша заведовал «Вечерним рестораном», который работал в помещении дневной столовой. Однако, кажется, в юбилейный ленинский год к старой столовой было пристроено новое здание с отдельным входом и современным интерьером, довольно высоким потолком и многочисленными колоннами, сделанными из буровых труб большого диаметра. В оформлении участвовали приезжие художники и дизайнеры. Стены нового, теперь уже настоящего ресторана были расписаны видами заснеженных горных вершин на фоне синеющей морской дали с чайками, а также чучками на берегу, ловившими маутами оленей.

Дядя Миша был счастлив и на открытие ресторана специально сшил в местном ателье великолепный белый костюм, а шею его украшала элегантная черная «бабочка». Кстати сказать, в ателье поселка было два очень приличных закройщика ростовского разлива. Внешность-то у дяди Миши была внушительная, но с извилинами не очень, хотя послушать его рассказы о прожитом было порой интересно — особенно об отступлении в Крыму. Кое-что в них напоминало отдельные главы из трилогии советского графа А. Н. Толстого «Хождение по мукам» или, скорее, его же повести «Похождения Невзорова, или Ибикус», а также булгаковский «Бег», которые дядя Миша, конечно, не читал.

Гусарский (казачий) дух дяди Миши постоянно требовал праздника. Он любил, когда геологи (а это было два раза в году — в первую субботу апреля перед Днем геолога и осенью в конце октября — в ноябре на вечер полевиков после очередного сезона) снимали ресторан на весь вечер. Была самодеятельность, затем возлияния и гуляние с дикими плясками. Поэтому уже в марте и сразу после прибытия осенью в поселок после сезонных работ первых полевиков дядя Миша, встречая геологов, потирал руки и нетерпеливо вопрошал: «Ну что, как? Когда гулять будем? Скоро?» Он с радостью ждал этих дней и готовился к ним. В эти дни был очень элегантен и встречал гостей, стоя у входа в зал нового ресторана. Вероятно, это отчасти напоминало ему его бесшабашную молодость и кабаки где-нибудь в Екатеринодаре. Хотя не то, размах не тот.

«Дерутся у вас мало», — с сожалением говорил дядя Миша. Когда дядя Миша обижался, а это иногда случалось, он начинал бормотать: «Нищие, нищие, все вы — нищие. Нищий народ». Нас это обычно веселило. Сказать о дяде Мише, что он любил

женщин, значит, ничего не сказать. Он обожал их всеми фибрами души. Когда у него дома порой прихватывало сердце и приезжала скорая помощь — сделать укол, горский князь очень расстраивался, если это была не миловидная молодая медсестра, а хоть и более опытная, но не столь эффектная пожилая дама.

В середине семидесятых приехал преуспевающий корреспондент из областной газеты, походил по поселку, поговорил с народом, зашел в среднюю школу, посидел вечерком в ресторане и убыл к себе в Магадан. Через некоторое время в «Магаданской правде» появилась громадная статья с примерным названием «Две судьбы». В этой статье были сравнительные биографии двух пожилых (около восьмидесяти лет и за восемьдесят) жителей поселка Сеймчан. Один, уважаемый директор школы, коммунист, якут, всю жизнь сеял разумное, доброе, вечное и строил социализм, аки пчелка, носящая в общий улей мед. Второй — бывший князь, недобиток, был ярым врагом советской власти и всю жизнь с ней боролся. Этот второй был, конечно, дядя Миша, которого мы все искренне любили. Справедливости ради надо заметить, что директор школы был действительно достойным человеком, но дядя Миша предстал перед читателем уж совсем злодеем, каким он, конечно, не был. Дядя Миша слег надолго и, кажется, уже не оправился. А какой уж День геолога или вечер полевииков без него. Не то, совсем не то...

КАЮРЫ ВАЛЬКА МЕРКУЛОВ И НЕТУДЫХАТКА

«Оп-ца, дри-ца-ца! А что он пляшет без конца? Да стырил деньги у отца. Ца-ца-ца-ца!» — это на ягельной террасе ручья Малинового, правого притока рыбной реки Алы-Юрях, орет и пляшет («Цыганочка» с выходом) наш каюр (конюх) Валька Меркулов. Он среднего роста, худошав и пропорционально сложен, блондин с веселыми, плутоватыми голубыми глазами и правильными чертами лица. Говорит, что из Москвы. Замашки у него приблатненные совершенно по-киношному. В кино увидишь, скажешь — этот актер переигрывает. Валька не первый год в поле, а зимой или бичует, или устраивается на работу в стационарные партии. Выдумщик, симулянт и врун. Новичкам обязательно расскажет, что он один из сыновей знаменитого генерала сталинских времен Меркулова. С лошадьми Валька обращаться умеет и любит их. Они отвечают ему взаимностью.

Но он совсем не образцовый каюр, потому что все делает шалай-валяй. Так же он и готовит пищу: то пересолит кашу, то недосолит, то она у него подгорит, то не доварится. Зато все время балагурит, разговаривает сам с собой (по принципу — приятно поговорить с умным человеком) и очень неприхотлив. Валька любит петь и набит всякими частушками, большинство из которых скабрёзного содержания и с непечатными словами. В прошлом он — карманник, щипач, но не ас своего ремесла и труслив. На зоне, вероятно, всегда был «шестеркой», прислуживая настоящим вора.

Как-то раз, когда мы пришли из маршрутного «захода» на базу, геологини пожаловались, что у них из бокового кармана палатки над нарами пропал «Тройной одеколон», попросили провести расследование. Этот одеколон у бичей был известен под названием «Коньяк с резьбой» — ведь он на спирту, крепость шестьдесят градусов, и закручивался крышкой с резьбой. Я подошел к женской палатке и увидел, что брезент в районе кармана с тыльной его стороны очень аккуратно и тонко разрезан бритвой крестом, а потом, тоже очень аккуратно, склеен лейкопластырем, который покрашен травой. Ясно, чья работа.

Встретив Вальку, я сказал: «Квалификацию решил не терять?» — «Да ну, начальник. Чего они так вещицы-то свои кладут. Ты скажи, чтоб больше не соблазняли. Не устою».

В конце сезона надо было перегонять лошадей от нашей базы до прииска Глухариного. Расстояние не очень большое — примерно сто двадцать километров. Главное было выйти на зимник, а затем без проблем топтать по нему до прииска. До зимника — километров тридцать. Можно, конечно, сначала и за день одолеть. Но дорога здесь очень сложная. Сюда по другой дороге от Колымы лошадей перегоняли два каюра под началом моего друга Олега, с которым мы на базе жили в одной палатке. Я спросил его, как насчет перегона осенью. «Скажешь — пойду, хотя особого желания нет», — ответил Олег.

В партии было две геологини, обе бывалые полевички. Одна из них, Люда, дочь боевого полковника, с детства помешана на собаках (исключительно немецких овчарках) и лошадях. Она хорошо ездил верхом, могла взнуздать и даже завьючить лошадь. Я предложил ей перегнать лошадей, она согласилась. В первой декаде сентября погода стояла замечательная — бабье лето, тепло, небо безоблачное.

У нас, помимо Вальки, был еще каюр по фамилии Нетудыхатка, родом, естественно, с Украины. В отличие от Вальки, это был весьма мрачный и здоровенный мужик, очень молчаливый, тоже с какой-то судимостью. Наверно, бытовуха — какая-нибудь драка и, может быть, с поножовщиной. Не в пример остальным рабочим, к геологам он обращался исключительно на «вы», хотя этого никто и не требовал, а женщин как-то сторонился и старался на них не смотреть при разговоре. Они же на него нередко поглядывали с интересом, особенно когда он, голый по пояс, завьючивал лошадей, поигрывая мускулистыми бицепсами. В такие моменты его фигура напоминала тело рабочего известной соцреалистической скульптуры «Бульжник — орудие пролетариата». В целом он неплохо справлялся со своей работой. Мог, в отличие от Вальки, более-менее ориентироваться на местности, но был невозможно упрям.

Вальке было все равно с кем и куда идти, а Нетудыхатка отказался наотрез, как я его ни уговаривал: «С бабой не пойду». Я попросил его подумать — тот же результат. Тогда я, не горячась, сказал, что если он не пойдет, то с этого дня я его уволью за отказ от работы. Тут Нетудыхатка даже перешел на «ты»: «Если ты меня уволишь, я уйду с базы». То есть этим он хотел сказать, что доберется до Колымы (сто — сто десять километров по прямой; по гидросети гораздо больше, но можно сделать плот и сплавиться, хотя вода была низкая), потом на берегу будет ждать какое-нибудь плавсредство, чтобы добраться до Сеймчана, — это уже вверх по Колыме. Я сказал, что не отпускаю его, дал почитать соответствующие инструкции по ТБ и попросил расписаться в книге инструктажа, а также написать объяснительную. Конечно, это был очень коварный шаг с моей стороны.

Для бедного Нетудыхатки написать что-нибудь было непосильной задачей (гораздо легче было, например, выкопать шурф глубиной метров восемь), но он, стиснув зубы, принялся за дело. Через несколько часов кропотливой работы на грязном листочке было написано (текст привожу по памяти и до сих пор очень жалею, что не сохранил оригинал; орфография, за исключением написания фамилий, не сохранена): «Начальнику Караге от Нетудыхатки Заявление Он Карага запрещает мне уйти с базы но я все равно уйду Нетудыхатка». Утром то ли десятого, то ли одиннадцатого сентября Люда и Валька завьючили двух лошадей сумами с едой на неделю, двумя мешками овса, спальными мешками и палаткой; привязали их и еще двух незагруженных лошадей к своим ездовым и отправились в путь. Сзади бежала здоровенная бестолковая, но зато с очень хорошей родословной овчарка Эльса. Погода стояла замечательная.

До верховьев нашего базового ручья и затем до перевала в следующий ручей можно было ехать верхом — дорога позволяла. Я был уверен, что Нетудыхатка остынет и никуда не денется, но ошибся. Как потом выяснилось, он этим же утром, как только рассвело, с рюкзаком, в котором был его нехитрый скарб и две буханки хлеба, ушел с базы вниз по реке. Оружия у него не было, за исключением здорового самодельного

тесака. Хватились мы его только днем, поскольку жил он в маленькой палатке один, несколько в стороне от остальных, и время у него было свое: ночью иногда шараялся по лагерю, а днем — спал.

Теперь следует сказать про связь с цивилизованным миром. На базе у нас была крупногабаритная военная рация со множеством батарей, которые очень быстро разряжались. С трудом удавалось связываться с Глухариным и реже с Сеймчаном, когда напрямую, когда через другие полевые партии. Подчас связь отсутствовала. Когда мы уходили в маршруты, связи не было, поскольку портативные «Караты» были здесь бесполезны. Узнав об уходе Нетудыхатки, я послал об этом и о выходе нашего конного отряда на Глухариный радиogramму с просьбой выслать вертолет для поиска ушедшего рабочего и завоза нам продуктов, которых оставалось в обрез. Связь была. Пообещали, но не сразу.

И как всегда бывает, когда пойдет полоса непоухи, через два дня замечательной погоды в ночь на третий день погода резко изменилась и пошел снег. Началось какое-то светопреставление. Дул ветер, тайга шумела. Буквально за день снега навалило по колено, и он не таял. Такого в это время года здесь не бывало. Этот снег не растаял и потом, а дней через пять температура упала еще ниже и наш ручей замерз. Дальнейшее развитие событий было таково. Вертолет так и не прилетел. Батареи к рации окончательно разрядились, и связи не было. Лишь однажды в первые дни непогоды нам удалось услышать по рации о том, что вертолет летит в один из поселков за коврами, которые там откуда-то появились.

Нетудыхатка, слава богу, вернулся дня через четыре сильно исхудавший и старающийся не попадаться нам на глаза. Известий о караване, отправившемся на Глухариный, мы не имели. У нас кончались продукты — чая не было совсем, зато было навалом сахара и немного муки, а из консервов только «Навага в томате», из которой готовили жиденький супчик с клецками и остатками других круп. Между тем ночи становились все холоднее. Как назло, вся живность пропала, да и в лучшие-то времена было ее здесь не очень много.

Настоящим зимним утром восемнадцатого октября Олег и я пошли на реку Токур-Юрях, где Олег при сплаве оставил на косе небольшой лабаз с продуктами. По дороге убили глухаря. Переночевали около лабаза, завернувшись в брезент. Ночью было северное сияние. Утром отправились обратно и, когда до базы оставалось километров пять, увидели вертолет, который уже поднимался из района нашей базы. Двадцатого октября мы были в Сеймчане. Здесь и узнали о лошадях.

Поход до Глухариного вместо четырех-пяти планируемых дней продлился почти три недели. На прииск Люда и Валька с одной оставшейся лошадей и Эльсой пришли только первого октября. Снега на перевалах намело столько, что лошади не могли идти, «копытить» траву было невозможно. Взятые овес и ячмень быстро кончились. По-видимому, путники еще и плутали, потому что Валька рассказывал о каких-то заснеженных безлесных гольцах, которые они проходили.

Теперь о Нетудыхатке. Я был очень удивлен, когда в Сеймчане он зашел ко мне и сказал, что зла не держит и во многом виноват сам. Он собрался лететь на материк. Больше я его не видел. С разбитым Валькой нас судьба сводила еще не раз.

P.S. У меня, естественно, были неприятные разговоры с начальством; временно перевели на полставки (кажется, на полгода) — была тогда такая мера воздействия на провинившихся. Лошадей списали. А оставшийся в живых мерин Яшка, взятый в поле не на местной конбазе, а в школе, был отведен в родное стойло и зимой, весь обросший шерстью, днем возил продукты для школьников, а вечером жевал сено либо овес, вспоминая временами осенние приключения. С ним мы еще раз повстречались через три года и совершили длинный (около двухсот километров) и очень тяжелый переход от поселка Омолон до базы в верховьях реки Пенжины во время таянья снегов

и разлива рек. В горах Ушэракчана (Чукотка), на снежнике крутого склона, он сорвался и прокувыркался вместе с вьюками метров двадцать по вертикали, но все кончилось благополучно — пробил копытами снег и остановился. Еще бы метров пять, и наш Яшка не увидел бы больше родное стойло в школе, поскольку летел бы еще метров пятнадцать, но уже в свободном падении, на острые скалы, которые торчали внизу среди бушующей воды. Прушник был этот Яшка. И это здорово, что такие есть.

Ну и в конце о том, что мир тесен. Года через три после описанных событий кто-то принес мне статью из «Магаданской правды». В ней шла речь об экспедиции из Ленинграда под руководством Захаренко в начале тридцатых годов XX века. Места как раз почти те, где был мой двухсоттысячный лист и Люда с Валькой перегоняли лошадей, когда их застала непогода. Большая часть экспедиции, ведомая Захаренко, заблудилась, и люди погибли. Зима в тот год наступила исключительно рано. Вторая, меньшая группа под руководством Федора Федоровича Ильина пошла в другом направлении, добралась до Колымы, где их подобрала какая-то баржа. Именем Захаренко потом была названа красивая и высокая горная гряда в верхнем течении Омолона, где я работал позднее. Почему эту гряду называли так, не знаю: Захаренко на ней никогда не бывал и пропал совсем не в этих местах.

Фамилия Ильин мне тогда не запомнилась, но, когда я стал работать в Арктической экспедиции Севморгео и затем в НИИГА-ВНИИОкеангеологии, как-то раз в разговоре со своим близким другом-геологом я вспомнил про историю с Захаренко и про то, что другая группа благополучно вернулась. «Так этой второй группой руководил мой отец», — улыбаясь в усы, сказал мой друг Володя (Владимир Федорович) Ильин.

Старожилы нашего института помнят и с большой теплотой отзываются о Федоре Федоровиче, а в одном из памятных сборников института есть воспоминания об этом замечательном человеке.

ЧОМБЕ

Я, кажется, никогда и не знал настоящего имени и фамилии этого шурфовщика. Правда, и знаком с ним был плохо. Так, кивали друг другу, тем более что в поселке он появлялся периодически, приезжая из стационарной геологоразведочной партии. Был он очень здоров, с мощным плечевым поясом, широкой грудью и здоровенными ручищами. Лицо имел исключительно топорное, расширявшееся ото лба к подбородку, за что и получил прозвище, которым, кажется, даже гордился. В те годы на слуху у всех были два африканских диктатора — Чомбе и Мобуту. О нашем Чомбе ходило много разных легенд, нередко весьма фантастических. Он, вероятно, знал об этом и старался поддерживать свою репутацию всякими эксцентрическими выходками. Правда, надо сказать, шурфовщиком он был отменным.

Это, конечно, очень тяжелая работа. Инструмент — лом, кайло, укороченная и обрубленная под себя подборная лопата и лист железа. Проходят шурфы, когда холодно, чтобы грунт, а это рыхлый аллювий, был смерзшимся и не нуждался в креплении. Шурф глубже двадцати метров уже называется шахтой. Если на забое сечение его метр на метр и таковым должно оставаться на глубине, то, на самом деле, у проходчика-аса оно внизу таково, что ступням тесно (это, конечно, фигурально выражаясь). Проходят шурфы двумя способами — «на пожог», раскладывая костер, и «на взрыв» с аммонитом. Но здесь речь пойдет не о горных работах.

Это история, которая стала одной из легенд о Чомбе. В один из морозных четвергов декабря (банный день геологов) мы, возвращаясь домой, решили заглянуть в ресторан. В зале было холодновато и малоллюдно. Сделав заказ, огляделись. Было занято еще три столика. За двумя сидели какие-то незнакомые личности (позднее

выяснилось — старатели), а за третьим столом — экспедиционные шурфовщики. И те, и другие уже под некоторым градусом. Судя по жестам, старатели «заводили» наших. По-видимому, они о чем-то поспорили. Далее события развивались так. Старателям принесли бутылку «Зубровки». Они открыли ее и дали Чомбе. Тот снял ботинки, стал одной ногой на стул, другую ногу согнул в колене. Затем круговыми движениями своей лапищи «разболтал» содержимое бутылки, закрыв глаза, закинул голову назад и, подняв бутылку над головой, струей вылил ее содержимое в свою пасть. Потом с удивительной для его комплекции легкостью прыгнул на пол и раскланялся налево и направо.

Ему аплодировали все. Старатели передали пачку денег со своего стола шурфовщикам. Ура, наши выиграли! Чомбе улыбался и, налив полный фужер водки, опрокинул в себя; затем почти сразу еще. Явно работал на публику. Прошло еще минут пять. И вдруг Чомбе дернулся, а затем как подкошенный упал на пол. Вскоре приехала скорая и увезла его. Дня через два Чомбе как ни в чем не бывало со своими друзьями грузил возле экспедиции машину, чтобы ехать в аэропорт, из которого Ан-2 должен был доставить его после короткого отдыха на базу стационарной партии.

ПРО «ЖМУРИКОВ»

Как и на всей планете, в Сеймчане люди жили по-разному, кто-то рождался, а кто-то умирал. Правда, умирали нечасто и уж совсем редко от старости. Обычно же это были несчастные случаи. Все же случалось. Надо сказать, меня, когда я появился в Сеймчане, неприятно поразило, что ранней осенью до начала морозов на местном погосте уже готовили ямы, учитывая существующую статистику.

В стационарной геологоразведочной партии умер (или погиб, не знаю) рабочий. Февраль, еще стояли морозы. В нашу экспедицию сообщили — ждите борт. Но погода стала портиться, и вроде бы дали отбой. Была пятница, и получилось так, что Ан-2 все-таки вылетел и привез покойного, но в аэропорту почти никого уже не было, в экспедиции — тоже. Пилоты спешили домой, а двое рабочих, сопровождавшие груз, решили, что пока из поселка в аэропорт доедет машина, они еще успеют сбежать в магазин (понятно зачем). Взяли они груз, который был зашит во вкладыш от спального мешка, и поставили его в уголок при входе в аэропорт, сами же потопали в магазин. Около аэропорта обычно всегда толкуются бичи — погреться можно, если милиция не прогонит. Кто-то из них видел, как из Ан-2 вытащили какой-то мешок и оставили у входа в аэропорт. «Ага, это геологи оленя привезли, а сами в магазин. Понятно».

Машина из экспедиции приехала только через полчаса, рабочие, сопровождавшие груз с прииска, были уже навеселе. А груза-то нет. Ищи — не ищи. Пропал жмурик. Нашли его дня через два. В экспедицию кто-то позвонил и поинтересовался: «Не ваш ли там лежит в кювете за Вторым поселком по дороге на Якутский». Больше и некому было.

А случилось вот что. Бичи потащили мешок на одну из своих бич-хат, ну а когда узнали, что там, то решили оттащить его подальше и в канаву.

История вторая.

Эту историю рассказал мне геолог из Певека. Я сам там никогда не был, поэтому прошу простить, если в рассказе будут какие-то географические неточности. Итак, тоже в камеральный период и тоже в стационарной партии умер рабочий. Привезли его в Певек. Оказалось, что никаких сведений о его родственниках в экспедиции не имелось. Был, что называется, без роду без племени. Для Северов история достаточно банальная. Таких хоронят за госсчет, а для самой процедуры находят двух-трех более-менее надежных местных рабочих и дают им по бутылке водки и по лопате в руки.

Так было и на этот раз. Если я правильно понял рассказчика, из окон экспедиционного здания была видна дорога на кладбище, которое находится на возвышенности. Рабочих и гроб довели до подъема, а там то ли дорога узкая, то ли гололед. Одним словом, выгрузили их и машина поехала в экспедицию. Вечером народ смотрит из окон камерального здания и видит, что спускаются с горки от кладбища трое. Причем двое пьяные, но все-таки еще более-менее идут и тащат под руки третьего, а он вообще никакой. Правда, падают периодически все вместе. Потом выяснилось, что у ребят с собой, кроме двух халявных бутылок, был еще и самогон. Они решили не торопиться. Поднялись на возвышенность. Сели, выпили, то да се. Потом еще. Пошли. Уронили гроб. Потом опять выпили. Смотрят: один лежит. А этот-то откуда взялся? Хотели дать ему выпить, а он в отключке. Допили свою самогонку — пора и домой. Ну и этого бросать не стали. Взяли под ручки и вниз под песню: «Вот кто-то с горочки спустился...».

